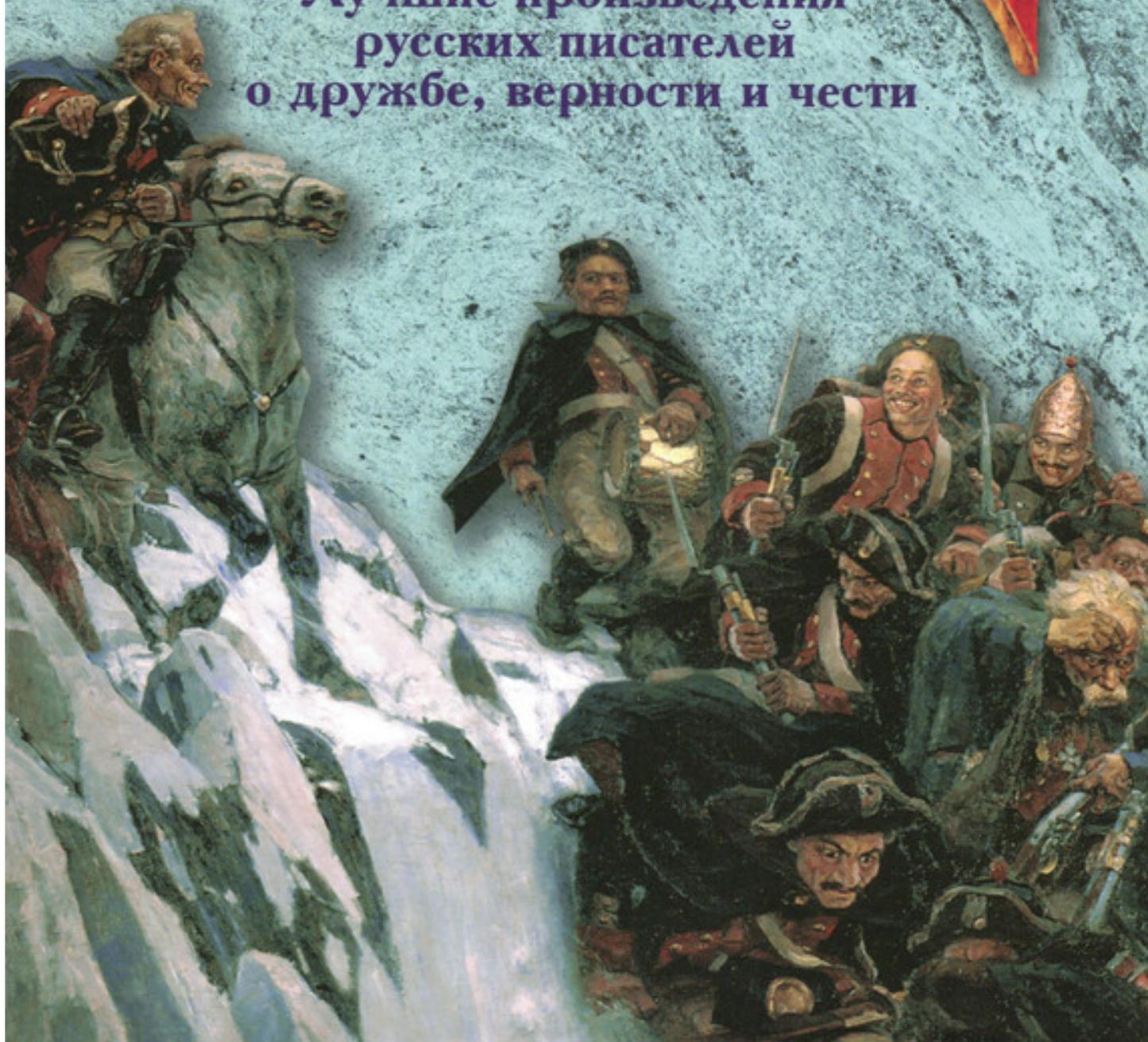


# БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ

Лучшие произведения  
русских писателей  
о дружбе, верности и чести



Лев Толстой

**Береги честь смолоду.  
Лучшие произведения  
русских писателей о  
дружбе, верности и чести**

ТД "Белый город"

УДК 821.161.1  
ББК 84.Р1

**Толстой Л. Н.**

Береги честь смолоду. Лучшие произведения русских писателей о дружбе, верности и чести / Л. Н. Толстой — ТД "Белый город",

ISBN 978-5-4850-0218-3

Сегодня особенно важно, чтобы наши дети выросли добрыми и порядочными людьми. Эта книга поможет воспитать в ребенке самые лучшие человеческие качества, такие, как честь и совесть, искренность и сочувствие, показав на примере наших предков, что именно эти личностные качества имеют непреходящую ценность.

УДК 821.161.1  
ББК 84.Р1

ISBN 978-5-4850-0218-3

© Толстой Л. Н.  
© ТД "Белый город"

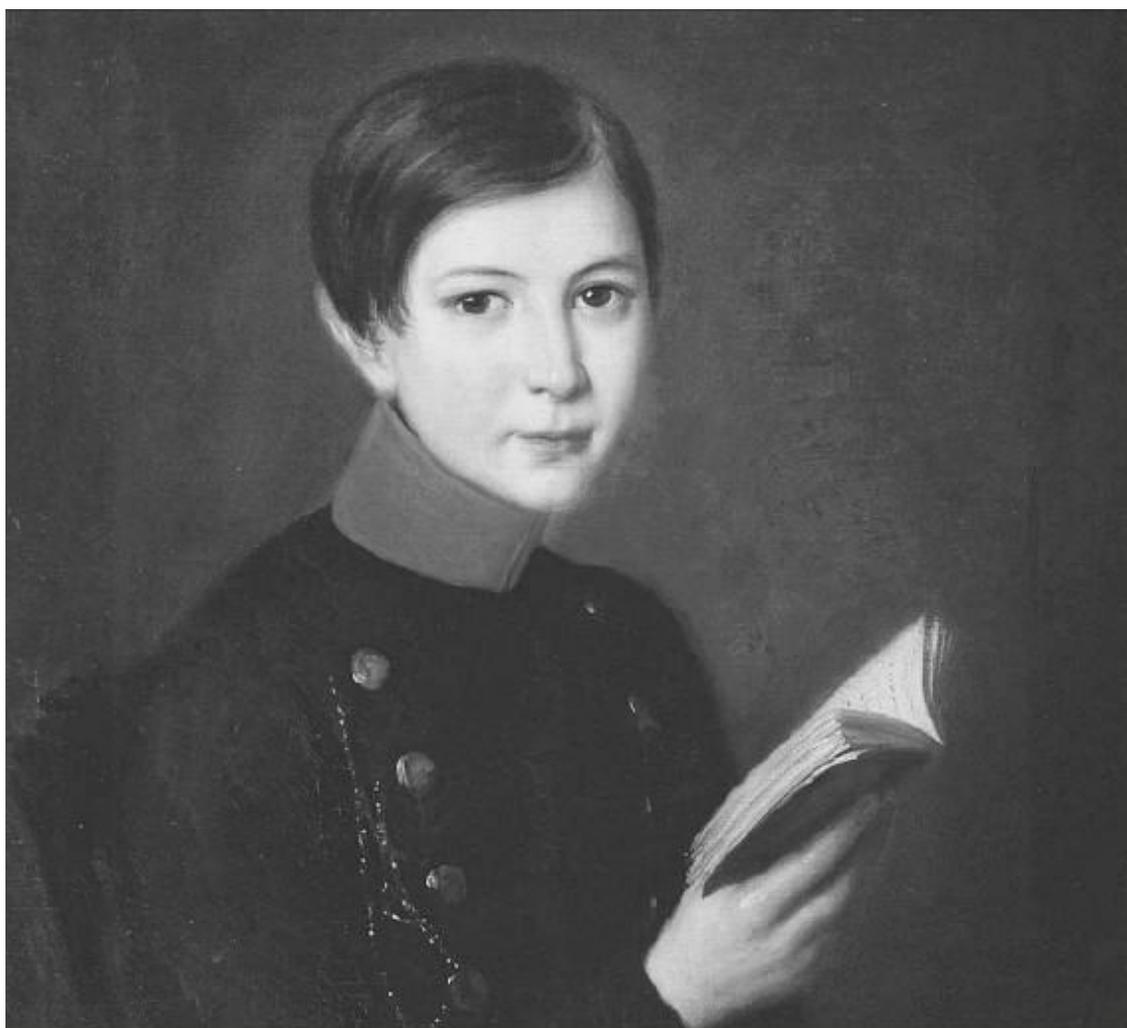
## Содержание

Михаил Нилович Альбов	6
Диссонанс	8
Валерий Яковлевич Брюсов	12
Дитя и безумец	14
Николай Григорьевич Гарин-Михайловский	17
Книжка счастья	19
Всеволод Михайлович Гаршин	22
Сказание о гордом Аггее	24
Владимир Алексеевич Гиляровский	29
Мои скитания	31
Москва и москвичи	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Коллектив авторов Береги честь смолоду. Лучшие произведения русских писателей о дружбе, верности и чести

© «Белый город», 2013

\* \* \*



Чем более читаете, не размышляя,  
тем более уверяетесь, что много знаете,  
а чем более размышляете, читая,  
тем яснее видите, что знаете очень мало.

*Вольтер*

## Михаил Нилович Альбов



**1851–1911**

Михаил Альбов явно унаследовал талант от своей матери, писавшей красивые стихи. Его первый рассказ был опубликован, когда Михаилу исполнилось всего тринадцать лет! По иронии судьбы, юношу не раз оставляли на второй год и даже исключали из гимназии за неуспеваемость.

Под знаком фанатичной преданности литературе прошли и зрелые годы писателя. Както особенно остро он ощущал дисгармонию мира с точки зрения «маленького человека», у которого нет ни понимания того, почему он родился «на дне», ни знаний и сил, чтобы «подняться наверх». Произведения писателя во многом близки по духу гоголевской «Шинели» и блестяще раскрывают не самую известную нам сторону российской действительности середины XIX века. Коммерческий успех и популярность Альбова интересовали мало, а выбранная им тематика совершенно не подходила для роли популярного читива. Поэтому жизнь писателя прошла в бедности. Умер Альбов от туберкулеза, пребывая в совершенно незаслуженной безвестности.



*Никто не имеет, повесив голову и потупив взор, вниз по улице ходить или на людей косо взглядывать, но прямо, а не согнувшись ступать и голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно, с благообразным постоянством, чтоб не сказали: он лукаво на людей смотрит.*

## Диссонанс

Невский проспект запружен народом. Как раз та пора дня, когда *fine-fleure*<sup>1</sup> Петербурга делает перед обедом свой моцион. Густая толпа нарядного люда движется по солнечной стороне, на всём протяжении от угла Литейной и Невского до Полицейского моста, в виде двух параллельных, одна другой навстречу, колонн, выступая истово, медленно, плавно... Озабоченного и делового совсем незаметно в этой толпе. Разве-разве кой-где скромно и вместе внушительно мелькнёт своими медными скобками сафьянный портфель, полускрытый под меховым обшлагом скунсовой шубы какого-нибудь солидного канцелярского деятеля, рангом не ниже надворного советника и восходя до действительного статского. Не будь этого портфеля, кому бы могло прийти в голову, что этот самый субъект, принадлежащий, по-видимому, к числу легкомысленных старцев, судя по тому, как он игриво осклабился на болтовню подхватившего его под руку совсем ещё безбородого уланского корнета, плотоядно впивающегося глазами в каждое недурное женское личико, – кому, говорю, придёт мысль о том, что он, может быть, несёт в эту минуту в своей голове целый ворох великих административных предначертаний? В эти часы Невский проспект выглядит весело, празднично и беззаботно. В эти часы можно здесь идти бок о бок с лицом, которое в другом месте и в другое время вы никогда, может, не встретите. Вот известный всему Петербургу двенадцативершковый певец, выступающий, подобно статуе Командора, в пушкинской пьесе. Вот тоже известный литературному миру прихрамывающий гастроном, под руку с несущим вперёд свой живот не менее известным творцом кровопролитных исторических драм, с жидкими прядями болтающихся на воротнике шубы длинейших волос, в цилиндре и пенсне на загнутом книзу, подобно клюву попугая, носу... Вот совсем уже знаменитый, розовощёкий и толстый, с наружностью *commis-voageur*<sup>2</sup> автор тысячи корреспонденций, новелл, монографий из кавказского, скандинавского, эскимосского, алеутского, бразильского, полинезийского, готтентотского и прочего быта... Вот курьёзная группа фигур с сморщенными бабьими лицами, в синих юбках и кофточках, с длинейшими косами и с веерами в руках – посольских китайцев. Вот... но и не перечить тут всех знаменитостей! Всё это на миг вырисовывается и опять пропадает в пёстром калейдоскопе интеллигентных физиономий, изящных затылков, щегольских бакенбард, офицерских погонов, восклицаний: «А, здравствуйте, вы куда?», подведённых бровей и женских улыбок... Там и сям раздаётся французская речь, гремит гвардейский палаш, скрещиваются взгляды и сияют приветственные улыбки двух разделённых толпою знакомых, причём военный околыш кивает, а блестящий цилиндр делает плавное движение в воздухе... Всё чинно, сдержанно и благопристойно. Всё дышит одною гармониею, объединяющею всю эту тысячную толпу приличных людей сознанием чувства собственного достоинства, дающегося обеспеченным положением, здоровым желудком и прекрасной погодой. И если найдётся в этой толпе кто-либо такой, который жрёт всякую дрянь, да ещё и на это не всегда может рассчитывать, – он стыдливо ступшёвывается, чувствуя себя диссонансом...

Тут как раз есть один такой человек... О, что до него, то он-то уж непременно должен чувствовать себя диссонансом!

Он идёт со стороны Адмиралтейства, медленно продвигаясь вдоль стен, которых упорно придерживается, игнорируя окна магазинов, по временам останавливаясь и прижимаясь под крышей какого-нибудь подъезда, где людское течение встречается менее густо. Постояв, он трогается дальше тем же медленным, плетущимся нога за ногу шагом. На пере-

---

<sup>1</sup> цвет (*фр.*).

<sup>2</sup> коммивояжёр (*фр.*).

крёстках он идёт торопливее, стараясь замешаться в толпу, обходя и осторожно ловя каждое движение завиденного вдали полицейского... Действительно, на фоне щеголеватой массы гуляющих он кажется неприличным пятном. За один уже костюм его можно отправить в участок. На плечах у него виднеется нечто такое, что даёт намёк на пиджак, бывший, вероятно, в своё время коричневым, но теперь представляющий одни только лохмотья. Не в лучшем положении и его панталоны, лёгкого летнего светло-серого трико, принадлежавшие, может быть, некогда какому-нибудь щёголю, причём на правой коленке ярко бросается в глаза совсем свежая синяя заплатка. На ногах – ботинки, разлезшиеся до последних пределов возможного, с мелькающими пальцами, а на голове фуражка, обратившаяся в замасленный блин. Словом, более негодной и отвратительной ветоши, служащей ему одеянием, вряд ли бы можно было придумать.

Физиономия этого оборванца принадлежит к тому неопределённому типу, который может предоставить обширное поле для предположений относительно социального его положения, начиная от бывшего лакея до отставного чиновника. Лет ему 30–40. На иззелена-бледном и испитом лице прорывается жидкая растительность, в виде усишек и бородачки телесного цвета. Маленькие глазки, кажущиеся ещё меньше благодаря выдающимся скулам, глубоко прячутся в своих орбитах и глядят оттуда с беспокойным и хищным выражением голодного. Кончик носа посинел от озноба. Он часто передергивает плечами и поддувает в свои огромные багровые руки, далеко высывающиеся из-под коротких рукавов пиджака, откуда виднеются обшлага грязнейшей розовой ситцевой рубашки, или, часто хватаясь за грудь, с ниспадающими на неё концами ветхой гарусной косынки, обмотанной вокруг его шеи, он принимается давиться глухим, как из бочки, простуженным кашлем.

Ещё вчера у него было пальто, правда, не лучше остального костюма, но всё-таки оно могло держаться ещё на плечах, а главное – грело. Вчера, за ранней обедней, на паперти у Спаса на Сенной, он набрал Христа ради около гривенника (встал он подалее от откупившей там своё место нищенской артели, и поэтому его не прогнали) да к полудню насбирал ещё столько же от прохожих. Пообедал он ситником и печёнкой, на три копейки с лотка, и зашёл в грязный трактир на Обводном канале. Остальные деньги мгновенно же пропил – и охмелел. Ударило в голову, смерть захотелось выпить ещё; на улице же было морозно, а тёплый воздух трактира сладостно грел иззябшее тело и разливал по всем членам истому... Пальто было скинуто с плеч и отправилось за стойку буфетчика, а взамен его на столе очутилась новая посуда с живительной влагой. Он пил и грелся, грелся и пил... А затем всё смешалось в тумане, и он ничего уж не помнил... Помнил он только, будто сквозь сон, как буфетчиковы дюжие руки подняли его под микитки со стула и повели, а он колыхался и заплетался ногами, споткнулся и чуть не расшиб себе лицо о ступеньки, потом вдруг пахнула навстречу ему струя морозного воздуха, те же дюжие руки с силой вытолкнули его и захлопнули дверь, а он кубарем вылетел во мрак и безлюдие улицы... Он был уже без пальто, со свинцом в голове и ногах. Стоял уже вечер. Он мало-помалу трезвел, а вместе с тем и холод начал сильнее его пронимать. В карманах его не было опять ни копейки. Спать смертельно хотелось, и зубы отбивали барабанную дробь. Он стоял, прижавшись к забору, с час, если не больше, от времени до времени только переменяя разные пункты, и за всё это время не перепало ему ничего. Улица была совершенно глухая, прохожих было мало, да и те, которые попадались, шли торопливо, подгоняемые холодом. Только раз запнулась перед ним толстая и короткая фигура человека в енотовой шубе, судя по медленной и нетвёрдой походке, должно быть, подвыпившего...

– На ночлег, Христа ради...

Шуба остановилась и воззрилась на него, распространив в окружающем воздухе тонкий букет алкоголя.

– На ночлег?... Ан врешь! Ан пропьешь!

Но всё-таки шуба полезла в карман и, колыхаясь, принялась тащить оттуда какую-то мелочь.

– Может, ты и мазурик какой али бо што... Ну, да шут с тобой, ладно! Н-на! Прими Христа ради! Выпей... Потому мы в сами теперича кажные...

Но он уж не слушал. В руке у него очутился целый пятак, отверзавший пред ним двери блаженства...

Эту ночь он провёл в знакомом ему ночлежном приюте, довольно либеральном насчёт паспортов, так как это было для него существенно важно; в нём он основался в эти последние дни, и поэтому там его знали.

Сегодня у него и крошки во рту ещё не было, и в брюхе, как говорится, девятый вал перекатывается... Эх, если б пальто! Он чувствует, как влажная оттепель обволакивает его спину и грудь острым и в то же время каким-то липнувшим холодом и сырость от тротуара, нашедшая дорогу сквозь прорехи ботинок, всё более пропитывает обвёртывающее его ноги тряпье.

А солнце сияет...

У него рябит в глазах от мелькающей ему навстречу толпы. Жадным и вместе растерянным взором скользит он по всем этим безучастным, не обращающим на него внимания лицам, от времени до времени бросая кому-нибудь наудачу, вполголоса, свою заученную фразу: «На хлеб, Христа ради...» Но она пропадает в хоре уличных звуков.

Вот он поравнялся с углом Невского и Михайловской улицы. Как раз на углу, только что выйдя из ближайшего подъезда, остановился какой-то господин, против извозчика, очевидно, намереваясь нанять. Полное румяное лицо и апатическое выражение больших серых глаз... Должно быть, предобрый!

– На хлеб, Христа ради...

Господин снисходительным взором окидывает отрепье обратившегося к нему оборванца и лезет пухлой рукой, с перстнями на пальцах, в жилетный карман.

Он чувствует, как в груди его ровно что потеплело. Даст непременно! Да и не медь, вероятно...

Тот переносит руку в другой жилетный карман.

«Что, если вдруг целый двугривенный?!» – думает с замирающим сердцем голодный.

Но господин в эту минуту застегивает пальто и кивает головою.

– Нет мелких, любезный... Извозчик! В «Малый Ярославец»<sup>3</sup>!

Сел и поехал.

Голодный смотрит вслед ему, как ошельмованный, пока тот совсем не скрывается из глаз. О, будь ты проклят! Небось закажет обед, сожрёт его всласть, спросит вина, орган поставить велит, дорогую сигару закурит и будет себе слушать, курить и прихлёбывать...

Он трогается дальше.

Господи, как хочется есть! Если бы рюмку водки теперь, другую бы, третью... Эх, так и прошло бы по всем суставам! А потом порцию чего-нибудь, шей, что ли, добрых, горячих... О!

Он скрипнул зубами.

Ну, и что бы, и что бы, если бы каждый из этих прохожих дал хоть копейку... Господи, сколько бы было! Столько народу, и если бы каждый!.. И этот вот офицер, и эта нарядная дама с лакеем... А лакей-то важный какой! Сыт небось, бестия! Ишь, рожа-то лопнет сейчас, да и здоров, колом не убьёшь! Ха, вишь ты, господскую собачонку несёт... Эх, взял бы её, подлюю, да башкой-то о тумбу!..

---

<sup>3</sup> Фешенебельный ресторан в Санкт-Петербурге.

Он прижимается к подъезду. А нарядная толпа всё движете я-движется мимо него, без конца... Вон там два господина. Один – высокий худой старик, с белыми, как лунь, бакенбардами. Другой – пониже – чёрный, в золотых очках; пальто расстёгнуто, и на жилете блестит толстая золотая цепочка. Подошли, поравнялись. Оба беседуют...

– ...жертвы все нашей общественной неурядицы! И если вы пересмотрите отчёты наших земских собраний...

– Подайте на хлеб, ради Христа...

Тот и другой взглядывают на оборванца, отвёртываются и продолжают свой путь.

– Чёрт знает! – доносится до него. – Этих нищих не оберёшься! Даже здесь, на Невском! И что это только полиция смотрит?!

Дальше уже не слышать.

– Прочь! Куда лезешь?! – осаживает его невесть откуда появившийся ливрейный лакей, с золотым галуном и таковой же кокардой на шляпе, бросаясь отворять дверцы остановившейся у тротуара кареты, и затем мимо него, подобрав своё платье и брезгливо ступая по грязному тротуару малюсенькими ножками, обутыми в изящные, как конфетка, башмачки, проходит в подъезд статная молодая красавица, кутая личико в пушистый мех своей роскошной бархатной, вишневого цвета, ретонды. Полою её она задевает растерявшегося перед ней оборванца, обдав его ароматной струёю каких-то особенно нежных духов.

Всё это дело одного только мгновения, но в это мгновение в нём происходит вдруг некий душевный процесс.

Он давно уже привык к своим лохмотьям, ощущая неудобство от них только в смысле плохой защиты от холода. Но теперь, в это мгновение, он вдруг внезапно постигает, что он – гадкий, жалкий, оборванный нищий, вроде какого-то комка грязи, попавшего на барский ковёр, что все это видят, но никто не обращает внимания только из снисходительности, что каждый, решительно каждый, не только из этой толпы приличных господ, но и этот раззолоченный холуй, мимоходом толкнувший его, очищая дорогу, даже этот сытый дворник, важно восседающий у ворот на скамейке, – все, все они, сейчас вот, в эту минуту, имеют право прогнать его прочь, как прогоняют какого-нибудь скверного, паршивого пса, который только благодаря недосмотру затесался в публичное место гулянья, где предписывается травы не мять и собак не водить и куда не возбраняется вход только прилично одетым; что одно уже самое его присутствие здесь, в этот час, на Невском проспекте наносит оскорбление всем, оскорбление даже этому самому солнцу, которое заливает праздничным светом и эти роскошные громады домов, и эти горящие золотом литеры вывесок, и эти ласкающие взор, сквозь зеркальные окна, груды серебра, драгоценных камней, и ярких материй, и весь этот поток блестящих цилиндров, военных фуражек и шапок, потому что всё это может гордо, с полным сознанием права, выставить себя навстречу лучам...

И всё это тонет в ослепительном свете, блестит, горит и переливается радужною игрою на солнце: и крест на массивном куполе Казанского собора, и высокая точка на колокольне Владимирской церкви, и игла Адмиралтейства, и снег, и ледяные сосульки на крышах, и оконные стёкла широких улиц и узких дворов, куда только может оно заглянуть...



## Валерий Яковлевич Брюсов



**1873–1924**

Валерий Брюсов – один из основоположников символизма в русской литературе – фигура непростая. Символисты, заменяя (а порой просто подменяя) загадочными фигурами ясный смысл традиционного искусства, действительно создали новое направление. Смелые эксперименты с формой, конечно, привлекали читателей, но за ней, как в сказке о голом короле, часто не было ничего. Брюсов, который отличался прекрасным образованием, хотя в юности получал выговоры от гимназического начальства за пропаганду атеистических идей, понимал это, как никто другой. Да, он прославился в первую очередь как поэт-мистик, любивший эпатировать публику (чего стоит, например, его однострочное стихотворение «О, закрой свои бледные ноги», вызвавшее бурную реакцию в литературных кругах того времени). Однако это была лишь внешняя оболочка, к которой поэт в глубине души не мог относиться серьезно. Иначе в его творчестве не было бы таких рассказов, как предлагаемый вашему вниманию.



*Не смотри на других людей, что они делают или как живут.*

## Дитя и безумец

Маленькая Катя спросила:

– Мама, что сегодня за праздник?

Мать отвечала:

– Сегодня родится Младенец Христос.

– Тот, Который за всех людей пролил кровь?

– Да, девочка.

– Где же Он родится?

– В Вифлееме. Евреи воображали, что Он придёт как царь, а Он родился в смиренной доле. Ты помнишь картинку: Младенец Христос лежит в яслях в вертепе, так как Святому семейству не нашлось приюта в гостинице? И туда приходили поклоняться Младенцу волхвы и пастухи.

Маленькая Катя думала: «Если Христос пришёл спасти всех людей, почему же пришли поклониться Ему только волхвы и пастухи? Почему не идут поклониться Ему папа и мама, ведь Он пришёл и их спасти?» Но спросить обо всём этом Катя не смела, потому что мама была строгая и не любила, когда её долго спрашивают, а отец и совсем не терпел, чтобы его отрывали от книг. Но Катя боялась, что Христос прогневаётся на папу и маму за то, что они не пришли поклониться Ему. Понемногу в её голове стал складываться план, как пойти в Вифлеем самой, поклониться Младенцу и просить прощения за папу и маму.

В восемь часов Катю послали спать. Мама раздела её сама, так как няня ещё не вернулась от всенощной. Катя спала одна в комнате. Отец её находил, что надо с детства приучать не бояться одиночества, темноты и прочих, как он говорил, глупостей. Катя твёрдо решила не засыпать, но, как всегда с ней бывало, это ей не удалось. Она много раз хотела не спать и подсмотреть, всё ли остаётся ночью, как днём, стоят ли дома на улицах, или они на ночь исчезают, но всегда засыпала раньше взрослых. Так случилось и сегодня. Несмотря на всё её старание не спать, глаза слиплись сами собой, и она забылась.

Ночью, однако, она вдруг проснулась. Словно её разбудил кто-то. Было темно и тихо. Только из соседней комнаты слышалось сонное дыхание няни. Катя сразу вспомнила, что ей надо идти в Вифлеем. Желание спать прошло совершенно. Она неслышно поднялась и начала, торопясь, одеваться. Обыкновенно её одевала няня, и ей очень трудно было натянуть чулки и застегнуть пуговочки сзади. Наконец, одевшись, она на цыпочках пробралась в переднюю. По счастью, её шубка висела так, что она могла достать её, встав на скамейку. Катя надела свою шубку из гагачьего пуху, гамашу, ботики и шапку с наушниками. Входная дверь была с английским замком, и Катя умела отпирать её без шума.

Катя вышла, проскользнула мимо спящего швейцара, отперла наружную дверь, так как ключ был в замке, и очутилась на улице.

Было морозно, но ясно. Свет фонарей искрился на чистом, чуть-чуть заледеневшем снегу. Шаги раздавались в тишине чётко.

На улице никого не было. Катя прошла её до угла и наудачу повернула направо. Она не знала, куда идти. Надо было спросить. Но первый встретившийся ей господин был так угрюм, так торопился, что она не посмела. Господин посмотрел на неё из своего поднятого мехового воротника и, не сказав ни слова, зашагал дальше.

Вторым встречным был пьяный мастеровой. Он что-то крикнул Кате, протянул к ней руки, но, когда она в страхе отбежала в сторону, тотчас забыл про неё и пошёл вперёд, затянув песню.

Наконец Катя почти наткнулась на высокого старика, с седой бородой, в белой папаше и в дохе. Старик, увидав девочку, остановился. Катя решила спросить его.

– Скажите, пожалуйста, как пройти в Вифлеем?

– Да ведь мы в Вифлееме, – отвечал старик.

– Разве? А где же тот вертеп, где в яслях лежит Младенец Христос?

– Вот я иду туда, – отвечал старик.

– Ах, как хорошо, не будете ли добры проводить и меня? Я не знаю дороги, а мне очень нужно поклониться Младенцу Христу.

– Пойдём, я тебя проведу.

Говоря так, старик взял девочку за руку и повёл её быстро. Катя старалась поспевать за ним, но ей это было трудно.

– Когда мы торопимся, – решила она наконец сказать, – мама берёт извозчика.

– Видишь ли, девочка, – отвечал старик, – у меня нет денег. У меня всё отняли книжники и фарисеи. Но давай я понесу тебя.

Старик поднял Катю сильными руками и, держа её как пёрышко, зашагал дальше. Катя видела перед собой его включенную седую бороду.

– Кто же вы такой? – спросила она.

– А я Симеон Богоприимец. Видишь ли, я был в числе семидесяти толковников. Мы переводили Библию. Но, дойдя до стиха «Се Дева во чреве прииме...», я усомнился. И за это должен жить, доколе же сказанное не исполнится. Доколе я не возьму Сына Девы на руки, мне нельзя умереть. А книжники и фарисеи стерегут меня зорко.

Катя не совсем понимала слова старика. Но ей было тепло, так как он запахнул её дохой. От зимнего воздуха у неё кружилась голова. Они всё шли по каким-то пустынным улицам, ряды фонарей бесконечно уходили вперёд, суживаясь в точку, и Катя не то засыпала, не то только закрывала глаза.

Старик дошёл до деревянного домика в предместье и сказал Кате:

– Здесь живёт слуга Ирода, но он мой друг, и я войду.

В окнах был ещё свет. Старик постучался. Послышались шаги, скрип ключа, дверь отворилась. Старик внёс Катю в тёмную переднюю. Перед ними в полном изумлении стоял немолодой уже человек в синих очках.

– Семён, – сказал он, – это ты? Как ты попал сюда?

– Молчи. Я обманул книжников и фарисеев и темничных сторожей. Сегодня праздничная ночь, они менее бдительны. Вот я и убежал.

– А шуба у тебя чья?

– Я взял у смотрителя. Но это я возвращу. Я ещё вернусь. Пусть мучают, но мне надо было пойти, я должен увидеть Христа, иначе мне нельзя умереть.

– Но что же это за девочка? – воскликнул господин в очках, который лишь теперь рассмотрел Катю.

– Она тоже идёт в вертеп.

– Да, мне надо поклониться Младенцу Христу, – вставила Катя.

Господин в очках покачал головой. Он взял Катю от старика, отнёс её в соседнюю комнату и передал какой-то старушке. Катя ещё говорила, что ей надо идти, но она так устала и измёрзла, что не очень сопротивлялась, когда её раздели, натёрли вином и уложили в тёплую постель. Она уснула тотчас.

Старика тоже уложили.

На другой день через участок и родители отыскали Катю, и смотрители сумасшедшего дома – своего бежавшего пациента.

Дитя и безумец – оба шли поклониться Христу. Благо тому, кто и сознательно жаждет того же.



*Н.Г. Гарин-Михайловский родился в Петербурге и прожил там часть своей жизни. Затем ему пришлось надолго покинуть родной город, однако тёплое чувство к Петербургу всегда сохранялось. «Через месяц он уедет в Петербург и будет жить новой, совсем новой, особенной жизнью. Там он будет другим человеком... новый мир откроется перед ним...»*

## Николай Григорьевич Гарин-Михайловский



**1852–1906**

Николай Михайловский (Гарин – это его литературный псевдоним) был не только талантливым писателем, мастерски владевшим даром слова. Однако, в отличие от многих своих коллег, он не ограничивался литературой, а пытался изменить жизнь общества к лучшему не столько в книгах, сколько в окружавшей его реальности.

Проработав несколько лет железнодорожным инженером, Николай Георгиевич уволился с работы, купил усадьбу в Самарской губернии и занялся нововведениями, пытаясь улучшить условия труда и жизни крестьян: открыл школу и больницу, вводил прогрессивные методы обработки земли.

Его усилия не встретили понимания в народе, но вряд ли это можно вменить в вину Николаю Григорьевичу. Несмотря ни на что, писатель всю жизнь продолжал занимать активную позицию и приносить людям пользу. Высшей ценностью он считал труд, постоянную работу для построения счастливого общества. И твердо верил, что «для всех есть счастье на земле».



*Младой отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и беспокоен, подобно как в часах маятник.*

## Книжка счастья

*Посвящается моей племяннице Ниночке*

Была когда-то на свете (а может, и теперь есть) маленькая, потёртая, грязная книжка. В этой книжке таилась волшебная сила. Кто брал её в руки, тот делался добрым, весёлым, хорошим, и главное – тот начинал любить всех и только и думал о том, как бы и всем было так же хорошо, как и ему. Купец не обманывал больше, богатый думал о бедных, большой барин больше не думал, что он не ошибается и что в его голове может поместиться весь мир. И всё потому, что тот, кто держал книжку волшебную, любил в эту минуту других больше, чем себя. Но когда книжка случайно выпадала из рук того, кто держал её, он опять начинал думать только о себе и ничего больше не хотел знать. И если книжка вторично попадалась на глаза, её отбрасывали ногами, а то с помощью щипцов бросали в огонь. Книжка как будто сгорала, все успокаивались, но так как книжка была волшебная, то она сгореть никогда не могла и опять попадалась кому-нибудь на глаза.

Был раз весёлый праздник. Все, кто мог, радовались. Но маленький больной мальчик не радовался. Его всегда мучили всякие болезни, и давно уж весь мир казался ему аптекой, а все незнакомые люди докторами, которые вдруг начнут насильно пичкать его разными горькими лекарствами.

Никто этого не любит, и вот почему мальчик, в то время как все дети веселились, шёл, гуляя с своей няней, такой же грустный и скучный, как и всегда. У него была большая тяжёлая голова, которая перетягивала его, и ему легче поэтому было смотреть вниз, и, может быть, вследствие этого он и увидел маленькую грязную книжку. И хотя няня и тянула его за руку вперёд, он всё-таки настоял на своём и поднял книжку.

Он держал её, и, чем крепче прижимал к себе, тем веселее становилось у него на душе. Когда он пришёл домой, увидев мать, он закричал радостно: «Мама!» – и побежал к ней. И хотя по дороге выскочил папа, который читал в это время одну очень умную книгу о том, как надо обращаться с детьми, и крикнул сердито своему капризному сыну: «Не можешь разве не кричать?» – мальчик не обиделся и понял, что папа кричит оттого, что у него нет такой же книжки, какая была у него.

И тётя, увидав его весёлого, не смогла удержать своего восторга, бросилась и начала его так больно целовать, что в другое время мальчик опять бы расплакался, но теперь он только сказал:

– Милая тётя, мне больно, пусти меня, пожалуйста.

И хотя тётя ещё сильнее от этого стала его тормошить, он терпел, потому что понимал теперь, что тётя любит его и сама не понимает, что делает ему своей любовью больно. Когда наконец мальчик прибежал к матери, он показал ей свою книжку и сказал счастливый, приседая и заглядывая ей в глаза:

– Книжка...

Мать не знала, конечно, какая это книжка, но она видела, что сын её счастлив, а чего ж больше матери надо? Она захотела только ещё прибавить ему немного счастья и, погладив его по голове, ласково проговорила:

– Милый мой мальчик.

Да, мальчик был очень счастлив, и, когда няня, укладывая его спать, взяла было у него книжку, он так начал плакать, что няня должна была вернуть ему книжку, с которой так и заснул мальчик.

А ночью к нему прилетела волшебница фея и сказала:

– Я фея счастья. Многим я давала свою книжку, и все были счастливы, когда держали её; но, когда я брала опять её от них, они не хотели второй раз принимать эту книжку от меня. Ты, маленький мальчик, первый, который захотел взять её обратно. И за это я тебе открою секрет, как сделать всех счастливыми. И хотя ты ещё очень маленький мальчик, но ты поймёшь, потому что у тебя доброе сердце.

И так как этого именно и хотел мальчик, потому что такова уж была сила волшебной книжки, то он и сказал фее:

– Милая фея! Я так хочу, чтоб все, все были так же счастливы, как я: и мама, и папа, и тот плотник, который сегодня приходил просить работы, и та старушка, которая, помнишь, шла и плакала оттого, что ей есть нечего, и тот мальчик, который просил у меня милостыни... все, все, добрая фея!

– А если б для того, чтобы все были счастливы, тебе пришлось бы умереть?.. Хочешь знать секрет?

– Хочу!

– Тогда идём!

И прекрасная фея протянула мальчику руку, и они пошли.

Они вышли на улицу и долго шли. Когда город остался позади, фея показала ему вверх, и хотя было темно, но там, на верху горы, высоко-высоко, ярко горели окна волшебного замка.

Фея нагнулась к мальчику и сказала:

– Вот что надо сделать, чтобы все были счастливы. Там, в этом замке, спит заколдованная царевна. Чтобы все были счастливы, надо разбудить её. Но это не так легко: сон царевны стережёт злой волшебник. Ты видишь перед нами ту большую дорогу, освещённую огнями, что идёт прямо в гору? Видишь, сколько идёт по этой дороге детей? Многие из них идут туда, в замок, с тем, чтобы разбудить царевну, но никто не разбудит! Это волшебная дорога: по мере того как они поднимаются в гору, их сердца каменеют, и, когда они приходят наверх с своими каменными сердцами, они забывают, зачем пришли, и злой волшебник громко смеётся и бросает их в виде камней вон в ту тёмную сторону, откуда слышны эти крики, плач и стоны.

– Это кто кричит?

– Те, которые ходят во тьме и в грязи. Они кричат, потому что им страшно и скучно во тьме, кричат, потому что они в грязи, потому что хотят есть, кричат, потому что надеются, что проснётся царевна и услышит их голодные крики. Злой волшебник смеётся и бросает им вместо хлеба каменных людей, которые, падая, убивают их, а они, не видя в темноте ничего, думают, что это камни летят в них с неба или кто-нибудь из них же бросает их, и тогда они убивают друг друга.

– А зачем волшебник так делает?

– Он должен их мучить, потому что только этим тёмным местом и можно прийти к дороге, ведущей в замок, к дороге, над которой уже не властна сила волшебника. Но об этом никто не знает, и пока там и темно, и грязно, и страшно – все хотят попасть на ту освещённую, но заколдованную дорогу. Какой хочешь идти дорогой? Той ли, где темно и грязно и нет таких нарядных и весёлых детей, какие идут по этой большой прямо в гору дороге?

– Этой, – мальчик показал в тёмную и грязную сторону.

– Ты не боишься? Там злые дети, они ходят в темноте взад и вперёд и, не зная дороги, кричат и убивают друг друга; там может убить тебя камень волшебника. Пойдёшь?

– Да.

– Идём.

Они пошли, и мальчик увидел вокруг себя страшные лица злых детей.

- Дети! Идите за мной! Я знаю дорогу!
- Где, где?
- Сюда, сюда, идите за мной!
- Но разве есть другая дорога, кроме той, по которой идут те счастливые дети?
- Ах, нет, той дорогой не идите. За мной идите!
- Но ты, как и мы, идёшь без дороги?
- Нет, здесь есть дорога... Идите... со мной фея.
- А, глупый ты мальчик, мы устали и так, мы есть хотим... Есть у тебя хлеб?
- У меня есть книжка счастья.
- О, да он совсем глупый... затопчем его в грязь с его глупой книжкой!
- Хочешь, улетим? – наклонилась к мальчику фея.
- Нет, не хочу... Они затопчут меня, но ведь книжка останется здесь... Это хорошо, милая фея, и ты того, кто подымет её, не правда ли, поведёшь дальше?

Мальчик не слышал ответа: злые дети уж бросились на него и, повалив, топтали его в грязь. И когда совсем затоптали, все были рады и прыгали на его могиле. Они думали, что затоптали и мальчика, и его книжку. Но книжку нашли другие и пошли дальше, а когда все ушли, фея вынула мальчика из грязи, обмыла его и отнесла в замок к царевне.

Он не умер, он спит там, в замке, рядом с царевной, и ему снятся хорошие сны. Добрая фея рассказывает их ему, когда прилетает с грязной и тёмной дороги, по которой хоть тихо, а все идут и несут книжку счастья в заколдованный замок.

И когда принесут наконец книжку – проснутся царевна и мальчик, погибнет злой волшебник, а с ним исчезнет и мрак, – и увидят тогда люди, что для всех есть счастье на земле.



## Всеволод Михайлович Гаршин



**1855–1888**

Однажды замечательный художник Илья Репин, работая над портретом Гаршина, спросил его:

– Всеволод Михайлович, отчего вы не напишите большого романа, чтобы составить себе славу крупного писателя?

– Видите ли, Илья Ефимович, – сказал ангельски-кротко Гаршин, – есть в Библии «Книга пророка Аггея». Эта книга занимает всего вот этакую страничку!

И это есть книга! А есть многочисленные тома, написанные опытными писателями, которые не могут носить почётного названия «книга» и имена их быстро забываются, даже несмотря на их успех при появлении на свет. Мой идеал – Аггей... И если бы вы только видели, какой огромный ворох макулатуры я вычёркиваю из своих сочинений! Самая огромная работа у меня – удалить то, что не нужно. И я проделываю это над каждой своей вещью по нескольку раз, пока наконец покажется она мне без ненужного балласта, мешающего художественному впечатлению...



*Имеет настоящий благочестный кавалер быть смирен, приветлив и учтив.  
Ибо гордость мало добра содевает...*

## Сказание о гордом Аггее

Жил в некоторой стране правитель; звали его Аггей. Был он славен и силен: дал ему Господь полную власть над страной; враги его боялись, друзей у него не было, а народ во всей области жил смиренно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель, и стал он думать, что никого нет на свете сильнее и мудрее его. Жил он пышно; множество у него было богатства и слуг, с которыми он никогда не говорил: считал их недостойными. С женою своею жил в ладу, но держал и её строго, так, что не смела она сама заговаривать, а ждала, пока не спросит её или не скажет ей что-нибудь муж.

Жил так Аггей один, точно на высокой башне стоял. Снизу толпы народа на него смотрят, а он не хочет никого знать и стоит на своём низеньком помосте; думает, что одно это место его достойно: хоть одиноко, да высоко.

Пошёл в праздник Аггей в церковь. Пришёл он туда с женою своею в пышных одеждах: мантии на них были златотканые, пояса с дорогими камнями, а над ними несли парчовый балдахин. И впереди их и сзади шли воины с мечами и секирами и довели их до царского места, откуда им слушать службу. Вокруг них стали начальники да чиновники. И слушал Аггей службу и думал по-своему, как ему казалось, верно или неверно говорится в Святом Писании.

Начал протопоп книгу читать и дошёл он до того места, где написано: «богатые обнищают, а нищие обогатеют». Услышал Аггей такие слова и разгневался.

– Что ты, – говорит, – поп, вздумал читать такую ложь? Не знаешь разве, как славен я и богат? Как мне обнищать и нищему обогатеть против меня?

Протопоп же не слушал его и дальше стал читать книгу, и службу отслужил до конца, не отвечая Аггею.

И разъярился правитель: протопопа велел заковать в кандалы и посадить в темницу, а лист, на котором те слова были написаны, велел из книги выдрать.

Отвели протопопа в темницу и лист выдрали, а правитель Аггей пошёл в свои палаты пировать и на пиру пил, ел и веселился.

Шёл за городом один юноша и увидел оленя, такого рослого и красивого, что до тех пор и не видывал. И захотел он угодить правителю: побежал в город, пришёл в его палаты и сказал об олене слугам. Донесли о том Аггею, и приказал он собираться на охоту.

Выехала охота в поле; увидели оленя и поскакали к нему. Стоит олень, голову поднял, на охоту оглядывается, будто ждёт чего-то. Не видал такого зверя и сам Аггей: рослый и гладкий, морда тонкая, умная; рога как дерево ветвистое, от конца до конца целая сажень. Шерсть гнедая, блестит, как лощёная; ляжки белые, как снег. Скачет к нему Аггей и дивится, что не уходит олень, а на него всё смотрит большими глазами, точно сказать что-то хочет. Подскакал Аггей, думал уж копьё метнуть; повернулся зверь, взмахнул ветвистыми рогами, прынул первым скоком на три сажени и пошел по полю; конь был у Аггея такой, что и цены ему не было, а стал отставать. Обернулся правитель на своих охотников, а их уже едва и видно; посмотрел вперёд на оленя и видит, что зверь пошёл тише. «Ну, – думает, – догоню!» Скачет во всю конскую мочь и видит – всё ближе и ближе к нему белые ляжки оленьи мелькают. Только хотел было копьё бросить – олень обернул голову, надал, опять Аггей далеко от него. Охоты уже давно не видно, и скачут в чистом поле только олень да Аггей на коне.

Гонялся он за ним полдня; видит наконец, что олень к реке бежит. «Ну, – думает, – если направо пойдёт – пропал, а налево – мой!» Налево река луку сделала, и некуда зверю было оттуда уйти: сзади охотник, спереди река широкая, ни человеку, ни зверю не переплыть. Повернул олень налево; задрожало у Аггея сердце от радости. Скачет, а сам думает: «Скоро река, некуда тебе уйти». Подскакал олень к берегу, а недалеко от берега островок небольшой,

а на острове кусты густые и лес мелкий. Прыгнул олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул и поплыл на остров. Подскакал Аггей и видит, что зверь в кусты ушёл. Погнался и он коня в воду.

Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушёл в воду по шею, а дальше нога и дна не достаёт. Повернул Аггей назад на берег, думает: «Олень от меня и так не уйдёт, а на такой быстрине, пожалуй, и коня утопишь». Слез с коня, привязал его к кусту, снял с себя дорогое платье и пошёл в воду. Плыл, плыл, едва не унесло. Наконец попробовал ногой – дно. «Ну, – думает, – сейчас я его достану», – и пошёл в кусты.

Разгневался Господь на Аггея. Призвал Он к себе ангела и повелел ему, приняв на себя вид Аггеев, одеться в его платье, сесть на коня и ехать в город. И исполнил ангел волю Господню по слову Его.

Искал, искал зверя Аггей по кустам – нет зверя. Весь остров кругом обошёл; поперёк сквозь кусты излазил – нет ничего. И не придумает Аггей, куда девался олень: впереди – река широкая, никакому зверю не переплыть; да и увидел бы он оленя, если бы тот поплыть вздумал. Досадно стало Аггею; однако делать нечего, надо назад воротиться. Он вышел к воде, бросил копьё, чтоб не мешало, и приплыл к берегу. Смотрит – ни коня, ни платья нет. Рассердился правитель, подумал, что украли, и решил строго наказать вора. Вышел он из воды, поднялся на крутой берег – чистое поле, нет никого. Нечего делать, нужно голому идти. Идёт, а трава ему ноги режет; непривычны они босиком ходить; солнце печёт голое тело и голову. Шёл, шёл Аггей, поднялся на пригорок; видит, в лощине пастух коров и телят пасёт. Остановился Аггей и начал ему рукой махать.

– Эй, ты, – говорит, – поди сюда!

Пастух на него смотрит, удивляется. «Откуда, – думает, – среди чистого поля голый человек взялся?» Пошёл к нему потихоньку; в одной руке кнут длинный, в другой – труба берестовая; сам в лаптях и в зипунишке худом; через плечо мешок для хлеба повешен. Аггей на него закричал:

– Ты чего не идёшь, когда зовут?

– А ты кто такой? – спрашивает пастух. – Чего тебе надобно?

– Не видел ли, кто моё платье взял и коня увёл?

– Да ты кто такой сам-то? – опять спрашивает пастух.

– Как, ты меня не знаешь? Я правитель ваш, Аггей.

Посмотрел на него пастух и засмеялся.

– Что ты, дурак, городишь! Правитель наш сейчас мимо меня в город с охоты проехал. Долго его тут охотники искали и нашли: вместе поехали.

– Как ты смеешь, раб, негодяй! – закричал Аггей.

– Пошёл, пошёл, – говорит пастух, – а то кнута отведаешь.

Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что наг и безоружен, и бросился на пастуха. Схватил за плечо, хотел ударить, но пастух был сильнее: повалил он Аггея на землю и начал бить берестовую трубою. Бил-бил, пока береста вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце.

– Вот, – говорит, – тебе за такие слова. Ступай!

Поднялся Аггей, весь избитый, побрёл потихоньку. А пастух подумал, и жаль ему стало. «Напрасно, – думает, – я человека избидел: может, он шальной какой или сумасшедший».

Отошёл Аггей немного от пастуха, слышит, тот зовёт его:

– Эй ты, воротись!

Аггей обернулся, смотрит, а пастух в одной руке что-то держит, а другою рукою к себе его манит.

– Воротись! – кричит. – Куда ты голый пойдёшь?.. На тебе хоть мешок.

Стоит Аггей, не шевелится. Горько и стыдно стало душе его. Пастух достал нож из-за пояса, прорезал в мешке три дыры: одну для головы, а две для рук, и подошёл к Аггею.

– Мешок-то у меня пустой, хлеб весь съел. Нехорошо человеку голому ходить; надень вместо рубахи.

Надел он на него мешок. Пошёл Аггей, ни слова не сказавши, в город. Идёт, а сам думает о своей напасти и не знает, откуда она на него пришла. Обманщик, видно, какой-нибудь, на него похожий, его платье взял и коня увёл. И чем дальше идёт Аггей, тем больше сердце у него разгорается. «Уж покажу я ему, что я Аггей – настоящий, грозный правитель. Прикажу на площадь отвести и голову отрубить. А пастуха тоже так не оставлю», – подумал Аггей, да вдруг вспомнил про мешок и застыдился.

Шёл он до вечера, а до города ещё далеко. Пришлось ему в поле ночевать; зарылся в копну и проспал всю ночь. Поднялся с зарёю и опять пошёл; недалеко от города вышел на большую дорогу. По дороге много народу в город на базар идёт и едет. Догоняет его обоз; стали его извозчики спрашивать, что он за человек и отчего это он в мешок одет.

Вспомнил Аггей про пастуховы побои и побоялся сказать правду.

– Я, – говорит, – не здешний житель; ехал я через ваш город по делам, да дорогой напали на меня разбойники, всего избили и ограбили, и коня, и платье, и деньги отняли. Надели на меня мешок, да и пустили.

Пожалели его добрые люди: собрали кто рубаху, кто штаны; один дал ему опорки старые, другой – кафтан, а третий – шапку. Поблагодарил их Аггей, спросил, как зовут и где их найти, и пошёл в город уже повеселее.

«Скоро, – думает, – моему мучению конец. Злодея накажу, а тех, кто мне помог, награжу».

Пошёл он прямо на соборную площадь: там его палаты стояли. Думал он в свои ворота войти, не узнала его стража и не пустила. Побоялся он, как бы опять бить не стали, отошёл и стал думать, что ему делать. Идти прямо в дом к себе нельзя: пока дойдёшь до обманщика, и избыют, и в тюрьму посадят, и убьют, пожалуй. «Надо потерпеть», – думает. Пошёл на базар, где подёнщики нанимались, и стал в толпу. Наняли его за малые деньги кирпичи на постройку носить. Трудна была ему работа: все плечи в кровь с непривычки истёр, а сам весь будто разбитый. Получил он под вечер деньги и разделил их на три части: на одну хлеба купил, поел, другую про запас на ночлег оставил, а на третью купил бумаги, чтобы написать жене своей письмо. Была у них одна великая тайна: знал про неё лишь он да жена его, и, чтоб поверила она письму, написал он про эту тайну и, подойдя к своему дому, увидел одну женщину из прислужниц жены и отдал ей письмо для передачи. Не узнала его в дурном платье и жена служанка. Стал Аггей недалеко от ворот, ответа поджидает.

А жена его, видя, что муж её при ней, не могла поверить тому письму. Подумала, не проговорился ли муж кому про ту тайну и не злодей ли какой хочет смутить её. Боялась она своего грозного мужа и знала, что если узнает он, что ей такие письма приносят, то накажет её, не разобрав дела. И чтобы отогнать того человека, что письмо написал, и напугать его, чтобы никогда больше не смел смущать её, приказала слугам схватить его, привести во двор и высечь жестоко. Исполнили это слуги, отпустили Аггея чуть живого. Приплёлся он на постоянный двор и всю ночь промучился: к утру лишь заснул. И телу его было больно, а на душе и того хуже: гнев бессильный и ярость связанная терзали его, а хуже мучения нет.

На другой день пришёл праздник, и стали хозяева с постоянного двора в церковь собираться. Нарядилась хозяйка и вышла за ворота, а муж во дворе чем-то замешкался. Стала жена мужа звать.

– Иди, – кричит, – а то правитель в церковь пройдёт, и не увидим его.

Услышал это Аггей и спрашивает:

– А кто у вас правитель?

– А ты не здешний, видно, что не знаешь? Правитель у нас Аггей. Правит он городом и всею областью уже двенадцать лет. Грозный у нас правитель: вчера увидела я его на улице, со страху чуть не упала.

Пошли хозяева в церковь, а Аггей не знает, что ему и думать. Махнул он рукой. «Будь что будет, – думает, – хуже того, что теперь, себе не сделаю; хоть и казнят меня, а пойду и обличу злодея». И пошёл за хозяевами к собору и стал с народом на паперти, где проходить правителю.

И видит Аггей: идут его воины-телохранители с секирами и мечами, и начальники, и чиновники в праздничных одеждах. И идут под балдахинном парчовым правитель с правительницей: одежды на них златотканые, пояса, дорогими камнями украшенные. И взглянул Аггей в лицо правителю и ужаснулся: открыл ему Господь глаза, и узнал он ангела Божия. И бежал Аггей в ужасе из города.

Бежал он долго, сам не зная, где и куда. И очутился он в дремучем лесу, и упал от усталости под деревом, и долго лежал без сил и без памяти, как будто бы оставила его на время душа его.

Проснулся он ночью, и дико ему стало. Забыл, что случилось в последние три дня, и не знает, отчего звёзды из-за веток смотрят на него, отчего над ним деревья от ветра шумят, отчего ему холодно и лежит он не на своей пуховой постели, а на сырой траве. Стал вспоминать и всё припомнил.

И горько плакал Аггей. Вспомнил он всю жизнь свою и понял, что не за выданный лист наказал его Господь, а за всю жизнь. «Прогневал я Господа, – думает, – и будет ли мне теперь пощада и спасение?»

Долго лежал он и плакал, каясь в грехе своём и прося у Бога помощи и силы. И послал ему Господь силу.

Рассвело. Аггей встал, и вышел из леса, и пошёл на светлый Божий мир, к людям.

Год прошёл, другой проходит, а жена Аггеева всё думает, что муж её вместе с нею в палатах живёт. Только удивляется она, отчего муж её стал смирён и добр: не казнит никого и не наказывает; на охоту не ездит, а только в церковь ходит да разбирает ссоры и тяжбы и мирит поссорившихся. Видится она с ним редко; посмотрит он на неё кротко, не по-прежнему, скажет ласковое слово и уйдёт в свою горницу, и там затворится и сидит один.

Приступила она к нему наконец:

– Господин мой, скажи мне, чем я прогневала тебя, что ты удалил от себя жену свою? Не знаю за собой никакой вины. За что же ты другой год меня чуждаешься?

Посмотрел на неё ангел, улыбнулся тихо и сказал:

– Ничем ты меня не прогневала, любезная жена, но я дал Богу обет три года не знать тебя. Вот третий год уже наступает, и скоро будешь ты жить по-прежнему с мужем своим.

Сказал и ушёл в свой покой и затворился. Заплакала жена и тоже пошла к себе.

Так прожили они три года. За неделю прежде, чем пойти четвёртому, отдал правитель приказ собрать со всей области нищих и убогих. Будет на правительском дворе всем им приём и угощение, и наделит их правитель дарами. Поскакали гонцы во все города, послали из городов приказ по сёлам и деревням, и со всех концов потянулись нищие. И не знал никто до той поры, что так много нищих в области; все дороги покрыли они: хромые, безногие, безрукие, и слепые, и слабые, и юродивые, и убогие разумом, старые и малые. Идут нищие зрячие больше по одиночке, а слепые – артелями. Собрались в город, и пришло их столько, что не только во дворе у правителя не поместились, а и всю соборную площадь заняли.

Пошёл правитель в церковь, набились и нищие в церковь, те, которые попали, а другие толпою стали перед церковью на площади. Слуги же в то время на площади столы расставили, и покрыли их, и поставили на них пироги, и похлебки, и мясо, и мёд, и вино. И сколько ни было нищих, всем места хватило.

Вышел правитель из церкви, остановился на паперти, дал знак рукой, и вся толпа стихла.

– Рад видеть вас всех, добрые люди: милости прошу хлеба-соли откусать. Садитесь по местам и кушайте, а пообедаете – ещё к вам выйду.

Сказал и пошёл в свои палаты. Стали за столы усаживаться; одна артель слепых целый стол заняла. Пришли эти слепые издалека; шли они тихо и долго; было их двенадцать человек, а поводырь у них был один. Шёл он впереди, двое за него держались, а за тех остальные по паре. Рассадил он их по местам, а сам стал служить: разлил им по мискам похлёбку, пироги роздал, мясо нарезал, ложки в руки дал. Едят слепые, а он от одного к другому ходит и служит им.

Вот в конце обеда вышел правитель из своих палат и начал обходить столы. Кого спросит о чём, кому ласковое слово скажет, а за ним идут слуги с деньгами и платьем и всех одевают. Обошёл всех и подходит к последнему столу, где слепая артель сидела. Увидел правителя поводырь – и задрожал, и побледнел весь.

Подходит к нему правитель и спрашивает:

– Ты тоже нищий?

– Нет, великий правитель, не нищий я. Слуга я нищим.

– Добро сказал ты, человек. Как зовут тебя?

Потупил поводырь глаза в землю:

– Люди Алексеем зовут.

Посмотрел ему в глаза ангел, улыбнулся и говорит:

– Не всякая ложь в ложь поставится. Иди за мной.

Оставил поводырь своих слепых и пошёл за правителем в палаты. Идут они через толпу, и дивятся на них все люди: идут точно братья родные. Оба высокие и статные, оба чёрноволосые, и оба на одно лицо: только у поводыря в густых кудрях седины много серебрится да лицо почернело от ветра и солнца, а у правителя лицо белое и светлое.

Расступился народ, пропустил их; ушли они в палаты. Провёл поводыря ангел в дальний покой и затворился с ним.

– Узнал я тебя, Аггей, – говорит правитель, – знаешь ли ты меня?

– Знаю, господин, что послан ты был наказать меня. Каюсь я в грехе моём и во всей жизни моей...

И заплакал Аггей, и плакал навзрыд. Стоит ангел перед ним: лицом просветлел и улыбается; поднял Аггей голову и перестал плакать: не видел он никогда улыбки такой.

– Кончилось наказание твоё, – сказал ангел. – Возьми мантию правителю, возьми меч и жезл и шапку правителю. Помни, за что ты наказан был, и правь народом кротко и мудро, и будь отныне братом народу своему.

– Нет, господин мой, послушаюсь я твоего веления, не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантии. Не оставлю я слепых своих братий: я им и свет и пища, и друг и брат. Три года я жил с ними и работал для них, и прилепился душою к нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям: долго стоял я один среди народа, как на каменном столпе, высоко мне было, но одиноко, ожесточилось сердце моё и исчезла любовь к людям. Отпусти меня.

– Добро сказал ты, Аггей, – отвечал ангел. – Иди с миром!

И пошёл поводырь Алексей со своими двенадцатью слепыми, и работал всю жизнь на них и на других бедных, слабых и угнетённых, и прожил так многие годы до смерти своей.

А ангел через три дня оставил тело правителя. Похоронили тело, и жалел народ своего правителя, который сначала гордым был, а после кротким стал.

Ангел же явился перед лицо Господа.

## Владимир Алексеевич Гиляровский



**1853–1935**

Пожалуй, лучшее по живости и яркости описание Владимира Гиляровского оставил брат известного писателя Антона Павловича Чехова Михаил.

«Приход Гиляровского пришёлся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда ещё молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на “ты”, предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушёл. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортёром по отделу происшествий в “Русских ведомостях”. Как репортёр он был исключителен».



*Никто себя сам много не хвали и не уничижай.*

## Мои скитания Отрывки

Матрос Китаев. Впрочем, это было только его деревенское прозвище, данное ему по причине того, что он долго жил в бегах в Японии и в Китае. Это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными и обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят, и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова.

Я смотрел на Китаева, как на сказочного богатыря, и он меня очень любил, обучал гимнастике, плаванию, лазанью по деревьям и некоторым невиданным тогда приёмам, происхождение которых я постиг десятки лет спустя, узнав тайны джиу-джитсу. Я, начитавшись Купера и Майн-Рида, был в восторге от Китаева, перед которым все американские герои казались мне маленькими. И действительно, они били медведей пулей, а Китаев резал их один на один ножом. Намотав на левую руку овчинный полушубок, он выманивал, растрепав палкой, медведя из берлоги, и когда тот, вылезая, вставал на задние лапы, отчаянный охотник совал ему в пасть с левой руки шубу, а ножом в правой руке наносил смертельный удар в сердце или в живот.

Мы были неразлучны. Он показывал приёмы борьбы, бокса, клал на ладонь, один на другой, два камня и ударом ребра ладони разбивал их или жонглировал брёвнами, приготовленными для стройки сарая. По вечерам рассказывал мне о своих странствиях вокруг света, о жизни в бегах в Японии и на необитаемом острове. Не врал старик никогда. И к чему ему врать, если его жизнь была так разнообразна и интересна! Многое, конечно, из его рассказов, так напоминавших Робинзона, я позабыл. Бытовые подробности японской жизни меня, тогда искавшего только сказочного героизма, не интересовали, – а вот историю его корабельной жизни и побега я и теперь помню до мелочей, тем более что через много лет я встретил человека, который играл большую роль в судьбе Китаева во время самого разгара его отчаянной жизни.

Надо теперь пояснить, что Китаев был совсем не Китаев, а Василий Югов, крепостной, барской волей сданный не в очередь в солдаты и записанный под фамилией Югов в честь реки Юг, на которой он родился. Тогда вологжан особенно охотно брали в матросы. Васька Югов скоро стал известен как первый силач и отчаянная голова во всем флоте. При спуске на берег в заграничных гаванях Васька в одиночку разбивал таверны и уродовал в драках матросов иностранных кораблей, всегда счастливо успевая спастись и являться иногда вплавь на свой корабль, часто стоявший в нескольких верстах от берега на рейде. Ему всыпали сотни линьков, гоняли сквозь строй, а при первом отпуске на берег повторялась та же история с эпилогом из линьков – и всё как с гуся вода.

Так рассказывал Китаев:

– Бились со мной, бились на всех кораблях и присудили меня послать к Фофану на усмирение. Одного имени Фофана все, и офицеры, и матросы, боялись. Он и вокруг света сколько раз хаживал, и в Ледовитом океане за китом плавал. Такого зверя, как Фофан, отродясь на свете не бывало: драл собственноручно, меньше семи зубов с маху не вышибал, да ещё райские сады на своём корабле устраивал.

Китаев улыбался своим беззубым ртом. Зубов у него не было: половину в рекрутстве выбили да в драках по разным гаваням, а остатки Фофан доколотил. Однако отсутствие зубов не мешало Китаеву есть не только хлеб и мясо, но и орехи щёлкать: челюсти у него давно закаменели и вполне заменяли зубы.

– А райские сады Фофан так устраивал: возьмёт да и развесит провинившихся матросов в верёвочных мешках по реям... Висим и болтаемся... Это первое наказание у него было. Я болтался-болтался как мышь на нитке... Ну, привык, ничего – вместо качели, только скрюченный сидишь, неудобно малость.

И он, скорчившись, показал ту позу, в какой в мешках сиживал.

– Фофан был рыжий, так, моего роста и такой же широкий, здоровущий и красный из лица, как медная кастрюля, вроде индейца. Пригнали меня к нему как раз накануне отхода из Кронштадта в Камчатку. Судно, как стёклышко, огнём горит – надраили. Привели меня к Фофану, а он уже знает.

– Васька Югов? – спрашивает.

– Есть! – отвечаю.

– Крузенштерн, – а я у Крузенштерна на последнем судне был, – не справился с тобой, так я справлюсь.

И мигнул боцману. Ну, сразу за здраю-желаю полсотни горячих всыпали. Дело привычное, я и глазом не моргнул, отмолчался. Понравилось Фофану. Встаю, обеими руками, согнувшись, подтягиваю штаны, а он мне:

– Молодец, Югов.

– Бросил я штаны, вытянулся по швам и отвечаю: есть! А штаны-то и упали. Ещё больше это понравилось Фофану, что штаны позабыл для ради дисциплины.

– На сальник! – командует мне Фофан.

А потом и давай меня по вантам, как кошку, гонять. Ну, дело знакомое, везде первым марсовым был, понравился... С час гонял – а мне что! Похвалил меня Фофан и гаркнул:

– Будешь безобразничать – до кости шкуру спущу!

И спускал. Вот, то есть как, за всякие пустяки дерма-драл да в мешках на реи подвешивал. Прямо зверь был. Убить его не раз матросы собирались, да боялись подступиться.

Фофан меня лупил за всякую малость. Уже просто человек такой был, что не мог не зверствовать. И вышло от этого его характера вот какое дело. У берегов Японии, у островов каких-то, Фофан приказал выпороть за что-то молодого матроса, а он болен был, с мачты упал и кровью харкал. Я и вступись за него, говорю, стало-быть, Фофану, что лучше меня, мол, порите, а не его, он не вынесет... И взбеленился зверяга...

– Бунт? Под арест его. К расстрелу! – орёт, и пена от злобы у рта.

Бросили меня в люк, а я и уснул. Расстреляют-то завтра, а я пока выплещу.

Вдруг меня кто-то будит:

– Дядя Василий, тебя завтра расстреляют, беги, – земля видна, доплывёшь.

Гляжу, а это тот самый матрос, которого наказать хотели... Оказывается, всё-таки Фофан простил его по болезни... Поцеловал я его, вышел на палубу; ночь тёмная, волны гудят, свищут, море злое, да всё-таки лучше расстрела... Нырнул на счастье, да и очутился на необитаемом острове... Потом ушёл в Японию с ихними рыбаками, а через два года на «Палладу» попал, потом в Китай и в Россию вернулся.

\* \* \*

Из того, что я учил и кто учил, осталось в памяти мало хорошего. Только историк и географ Николай Яковлевич Соболев был яркой звёздочкой в мёртвом пространстве. Он учил шутя и требовал, чтобы ученики не покупали пособий и учебников, а слушали его. И все великолепно знали историю и географию.

– Ну, так какое же, Ордин, озеро в Индии и какие и сколько рек впадают в него?

– Там... мо... мо... Индийский океан...

– Не океан, а только озеро... Так забыл, Ордин?

– Забыл, Николай Яковлевич. У меня книжки нет.

– На что книжка? Всё равно забудешь... Да и не трудно забыть – слова мудрёные, дикие... Озеро называется Манасаровар, а реки – Пенджаб, что значит пятиречье... Слова тебе эти трудны, а вот ты припомни: пиджак и мы на самоваре. Ну, не забудешь?

– Галахов! Какую ты Новую Гвинею начертил на доске? Это, братец, окорок, а не Новая Гвинея... Помни, Новая Гвинея похожа на скверного, одноногого гуся... А ты окорок.

В третьем классе явился Соболев на первый урок русской истории и спросил:

– Книжки ещё не покупали?

– Не покупали.

– И не покупайте, это не история, в ней только и говорится, что такой-то царь побил такого-то, такой-то князь такого-то и больше ничего... Истории развития народа и страны там и нет.

И Соболев нам рассказывает русскую историю, давая записывать только имена и хронологические данные, очень ловко играя на цифрах, что весьма легко запоминалось.

– Что было в 1380 году?

Ответишь.

– А ровно через сто лет?

Всё хорошо запоминалось. И самое светлое воспоминание осталось о Соболеве. Учитель русского языка, франтик Билевич, завитой и раздушенный, в полную противоположность всем другим учителям, был предметом насмешек за его щегольство.

– Они все женятся! – охарактеризовал его Онисим.

Действительно, это был «жених из ножевой линии» и плохо преподавал русский язык. Мне от него доставалось за стихотворения-шутки, которыми занимались в гимназии двое: я и мой одноклассник и неразлучный друг Андреев Дмитрий. Первые силачи в классе и первые драчуны, мы вечно ходили в разорванных мундирах, дрались всюду и писали злые шутки на учителей. Все преступления нам прощались, но за эпиграммы нам тайно мстили, придираясь к рваным мундирам.

\* \* \*

Это был июнь 1871 года. Холера уже началась. Когда я пришёл пешком из Вологды в Ярославль, там участились холерные случаи, которые главным образом проявлялись среди прибрежного рабочего народа, среди зимогоров-грузчиков. Холера помогла мне выполнить заветное желание попасть именно в бурлаки, да ещё в лямочки, в те самые, о которых Некрасов сказал: «То бурлаки идут бечевой...»

Я ходил по Тверицам, любовался красотой нагорного Ярославля, по ту сторону Волги, дымившими у пристаней пассажирскими пароходами, то белыми, то розовыми, караваном баржей, тянувшихся на буксире... А где же бурлаки?

Я спрашивал об этом на пристанях – надо мной смеялись. Только один старик, лежавший на штабелях тёса, выгруженного на берег, сказал мне, что народом редко водят суда теперь, тащат только маленькие унжаки и коломенки, а старинных расшив что-то давно уже не видать, как в старину было.

– Вот только одна вчера такая вечером пришла, настоящая расшива, и сейчас, так версты на две выше Твериц, стоит; тут у нас бурлацкая перемена спокон веку была, аравушка на базар сходит, сутки, а то и двое, отдохнёт. Вон гляди!..

И указал он мне на четверых загорелых оборванцев в лаптях, выходивших из кабака. Они вышли со штофом в руках и направились к нам, их, должно быть, привлекли эти груды сложенного тёса.

– Дедушка, можно у вас тут выпить и закусить?

- Да пейте, кто мешает!
- Вот спасибо, и тебе поднесём!

Молодой малый, белесоватый и длинный, в синих узких портках и новых лаптях, снял с шеи огромную вязку кренделей. Другой, коренастый мужик, вытащил жестяную кружку, третий выворотил из-за пазухи вареную печёнку с хорошей каравай, а четвёртый, с чёрной бородой и огромными бровями, стал наливать вино, и первый стакан поднесли деду, который на зов подошёл к ним.

- А этот малый с тобой, что ли? – мигнул чёрный на меня.
- Так, работёнку подыскивает...
- Ведь вы с той расшивы?
- Оттоль! – И поманил меня к себе. – Седай!

Чёрный осмотрел меня с головы до ног и поднёс вина. Я в ответ вынул из кармана около рубля меди и серебра, отсчитал полтинник и предложил поставить штоф от меня.

– Вот, гляди, ребята, это всё моё состояние, пропьём, а потом уж вы меня в артель возьмите, надо и лямку попробовать... Прямо говорить буду, деваться некуда, работы никакой не знаю, служил в цирке, да пришлось уйти, и паспорт там остался.

- А на кой ляд он нам?
- Ну что ж, ладно! Айда с нами, по заре выходим.

Мы пили, закусывали, разговаривали... Принесли ещё штоф и допили.

– Айда-те на базар, сейчас тебя обрядить надо... Коньки брось, на липовую машину станем!

Я ликовал. Зашли в кабак, захватили ещё штоф, два караваев ситного, продали на базаре за два рубля мои сапоги, купили онучи, три пары липовых лаптей и весьма любовно указали мне, как надо обуваться, заставив меня три раза разуться и обуться. И ах! как легко после тяжёлой дороги от Вологды до Ярославля показались мне лапти, о чём я и сообщил бурлакам.

– Нога-то как в трактире! Я вот сроду не носил сапогов, – утешил меня длинный малый.

Приняла меня оравушка без расспросов, будто пришёл свой человек. По бурлацкому статуту не подобает расспрашивать, кто ты да откуда.

Садись, да обедай, да в лямку впрягайся! А откуда ты, никому дела нет. Накормили меня ужином, кашицей с солёной судачиной, а потом я улёгся вместе с другими, на песке около прикола, на котором был намотан конец бичевы, а другой конец высоко над водой поднимался к вершине мачты. Я уснул, а кругом ещё разговаривали бурлаки, да шумела и ругалась одна пьяная кучка, распивавшая вино. Я заснул как убитый, сунув лицо в песок – уж очень комары и мошкара одолевали, особенно когда дым от костра несся в другую сторону.

Я проснулся от толчка в бок и голоса над головой:

– Вставай, ребяташки, встава-ай...

Песок отсырел... Дрожь проняла всё тело... Только что рассвело... Травка не колыхнётся, роса на листочке поблескивает... Ветерок пошевеливает белый – туман над рекой... Вдали расшива кажется совсем чёрной...

– Подходи к отвальной!

Около приказчика с железным ведром выстраивалась шеренга вставших с холодного песка бурлаков с заспанными лицами, кто расправлял наболелые кости, кто стучал от утреннего холода зубами.

Согреться стаканом сивухи – у всех было единой целью и надеждой. Выпивали... Отходили... Солили ломти хлеба и завтракали... Кое-кто запивал из Волги в нападку водой с песочком и тут же умывался, утираясь кто рукавом, кто полой кафтана. Потом одежду, а кто запасливей, так и рогожу, на которой спал, валили в лодку, и приказчик увозил бурлацкое имущество к посудине. Ветерок зарябил реку... Согнал туман... Засверкали первые лучи

восходящего солнца, а вместе с ним и ветерок затих... Волга – как зеркало... Бурлаки столпились возле прикола, вокруг бичевы, принаравливались к лямке.

– Хомутайсь! – рявкнул косной с посудыны...

Стали запрягаться, а косной ревел:

– Залогу!..

Якорные подъехали на лодке к буйку, выбрали канаты, затянули дубинушку, и, наконец, якорь показал из воды свои чёрные рога...

– Ходу, ребяташки, ходу! – надрывался косной.

– Ой, дубинушка, ухнем, ой, лесовая, подёрнем, подёрнем, да ух, ух, ух...

Расшива неслышно зашевелилась.

– Ой, пошла, пошла, пошла...

А расшива ещё только шевелилась и не двигалась... Аравушка топталась на месте, скрипнула мачта...

– Ой, пошла, пошла, пошла...

\* \* \*

То мы хлюпали по болоту, то путались в кустах.

Ну и шахма! Вся тальником заросла. То в болото, то в воду лезь.

Ругался «шишка» Иван Костыга, старинный бурлак, из низовых.

– На то ты и «гусак», чтобы дорогу-путь держать, – сказал «подшищечный» Улан, тоже бывалый.

– Да нешто это наш бичевник!.. Пароходы съели бурлака... Только наш Пантюха всё ещё по старой вере.

– Народом кормился и отец мой, и я. Душу свою нечистому не отдам. Что такое пароходы? Кто их возит? Души утопленников колёса вертят, а нечистые их огнём палят...

Этот разговор я слышал ещё накануне, после ужина. Путина, в которую я попал, была случайная. Только один на всей Волге старый «хозяин» Пантелей из-за Утки-Майны водил суда народом, по старинке.

Короткие путины, конечно, ещё были: народом поднимали или унжаки с посудой, или паузки с камнем, и наша единственная уцелевшая на Волге Крымзенская расшива была анахронизмом. Она была старше Ивана Костыги, который от Утки-Майны до Рыбны больше двадцати путин сделал у Пантюхи и потому с презрением смотрел и на пароходы, и на всех нас, которых бурлаками не считал. Мне посчастливилось, он меня сразу поставил третьим, за подшищечным Уланом, сказав:

– Здоров малый, – этот сдоржить!

И Улан подтвердил: сдоржить!

И приходилось сдерживать, – инда икры болели, грудь ломило и глаза наливались кровью.

– Суводь<sup>4</sup>, робя, держись. О-го-го-го... – загремело с расшивы, попавшей в водоворот.

И на повороте Волги, когда мы переваливали песчаную косу, сразу натянулась бичева, и нас рвануло назад.

– Над-дай, робя, у-ух! – грянул Костыга, когда мы на момент остановились и кое-кто упал:

– Над-дай! Не засарива-ай!.. – ревел косной с прясла.

Сдержали. Двинулись, качаясь и задыхаясь... В глазах потемнело, а встречное течение – суводь – ещё крутило посудину.

---

<sup>4</sup> Суводь – порыв встречного течения.

– Федька, пудилья! – хрипел Костыга.  
И сзади меня чудный высокий тенор затянул звонко и приказательно:  
– Белый пудель шаговит...  
– Шаговит, шаговит... – отозвалась на разные голоса ватага, и я тоже с ней.  
И установившись в такт шага, утопая в песке, мы уже пели чёрного пуделя.  
– Чёрный пудель шаговит, шаговит... Чёрный пудель шаговит, шаговит.  
И пели, пока не побороли встречное течение. А тут ещё десяток мальчишек с песчаного обрывистого яра дразнили нас:  
– Аравушка! аравушка! обсери берега!  
Но старые бурлаки не обижались, и никакого внимания на них.  
– Что верно, то верно, время холерное!  
– Правдой не задразнишь, – кивнул на них Улан.  
Обессиленно двигалась Бичева захлюпала по воде. Расшива сошла со стержня...  
– Не зас-сарива-ай!.. – И бичева натягивалась.  
– Ещё ветру нет, а то искупало бы! – обернулся ко мне Улан.  
– Почему Улан? – допытывался я после у него.  
Оказывается, давно это было – остановили они шайкой тройку под Казанью на большой дороге, и по дележу ему достался кожаный ящик. Пришёл он в кабак на пристани, открыл, – а в ящике всего-навсего только и оказалась уланская каска.  
– Ну и смеху было! Так с тех пор и прозвали Уланом.  
Смеётся, рассказывает.  
Когда был попутный ветер – ставили пару и шли легко и скоро, торопком, чтобы не засаривать в воду бичеву.

\* \* \*

Давно миновали Толгу – монастырь на острове.  
Солнце закатывалось, потемнела река, пояснил песок, а тальники зелёные в чёрную полосу слились.  
– Засобачивай!  
И гремела якорная цепь в ответ.  
Булькнули якоря на расшиве... Мы распряглись, отхлестнули чебурки ляточные и отдыхали. А недалеко от берега два костра пылали и два котла кипятились. Кашевар часа за два раньше на завозне прибыл и ужин варил. Водолив приплыл с хлебом с расшивы.  
– Мой руки, да за хлеб за соль!  
Сели на песке кучками по восьмеро на чашку. Сперва хлебали с хлебом «юшку», то есть жидкий навар из пшена с «поденьем», льняным чёрным маслом, а потом густую пшённую «ройку» с ним же. А чтобы сухое пшено в рот лезло, зачерпнули около берега в чашки воды: ложка каши – ложка воды, а то ройка крута и суха, в глотке стоит. Доели. Туман забелел кругом. Все жались под дым, а то комар заел. Онучи и лапти сушили. Я в первый раз в жизни надел лапти и нашёл, что удобнее обуви и не придумаешь: легко и мягко.  
Кое-кто из стариков уехал ночевать на расшиву.  
Федя затянул было «Вниз по матушке», да не вышло. Никто не подтянул. И замер голос, прокатившись по реке и повторившись в лесном овраге...  
А над нами, на горе, выли барские собаки в Подберёзном.  
Рядом со мной старый бурлак, седой и почему-то безухий, тихо рассказывал сказку об атамане Рукше, который с бурлаками и казаками персидскую землю завоевал... Кто это завоевал?.. Кто этот Рукша? Уж не Стенька ли Разин? Рукша тоже персидскую царевну увёз.  
Скоро все заснули.

Моя первая ночь на Волге. Устал, а не спалось. Измучился, а душа ликовала, и ни клочка раскаяния, что я бросил дом, гимназию, семью, сонную жизнь и ушёл в бурлаки. Я даже благодарил Чернышевского, который и сунул меня на Волгу своим романом «Что делать?».



## Москва и москвичи

### Отрывки

#### Под Китайской стеной

Постройка Китайской стены, отделяющей Китай-город от Белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай-городом в воспоминание своей родины – Китай-городка на Подолии.

В начале прошлого столетия, в 1806 году, о Китайгородской стене писал П.С. Валуев: «Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников; к стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни... Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург... Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки».

После этого, как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому, и вдобавок на Старой площади, между Ильинскими и Никольскими воротами, открылся Толкучий рынок, который в половине восьмидесятых годов был ещё в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил В.Е. Маковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в восьмидесятых годах, но следы её остались, – она развела трущобы в самом центре города, которые уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной – Лубянская площадь с её трактирами-притонами и знаменитой «Шиповской крепостью».

В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Н.И. Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шилову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному: он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться по сколько угодно человек в квартире, и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось...

Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшими отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно.

Обитатели «Шиповской крепости» делились на две категории: в одной – беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Всё это развесёлый пьяный народ, ищущий здесь убежища от полиции.

Категория вторая – люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что бывшее. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые с каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает

какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но, молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны.

Первая категория исчезает днём для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит.

Вторая категория днём спит, а ночью «работает» по Москве или её окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли «Иванами», а впоследствии – «деловыми ребятами».

И вот, когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи «иваны» заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врывать в дом, они, вооружённые, бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налёт «Иванов» снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве.

«Иваны», являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочки Старой и Новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые возы пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в тёмных подвалах и отыскать было нельзя.

Лавочки мрачны даже днём, – что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждая из этих лавочек как бы имеет свою специальную, небогатую торговлю. В одной продавали дешёвые меха, в другой – старую, чинёную обувь, в третьей – шерсть и бумагу, в четвёртой – лоскут, в пятой – железный и медный лом... Но всё это только приличная обстановка для непосвящённых, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавочках принималось всё, что туда ни привозилось и ни приносилось, – от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника...

Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную десятипудовую пушку, украденную из Кремля.

Днём лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек – от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами, от «Иванов» – ночную добычу, иногда ещё с необсохшей кровью. Получив деньги, «Иваны» шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в «Ад» на Трубу или «Поляков трактир». Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а «иваны» – к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных каморках, «тырбанили с лам» – делили добычу и тут же сбывали её трактирщику или специальным скупщиком.

В дни существования «Шиповской крепости» главным разбойничьим притоном был близ Яузы «Поляков трактир», наполненный отдельными каморками, где производился делёж награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались...

В одной из этих каморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей... Здесь же, на чердаке, были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах.

После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьёзные «иваны» не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут «фортунка» и «судьба» и, конечно, шулера.

Трактир Полякова продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шилова приобрело императорское человеколюбивое общество и весьма не человеколюбиво принялось оно за

старинных вольных квартирентов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так:

– Нахлынули в тёмную ночь солдаты – тишина и мрак во всём доме. Входят в первую квартиру – темнота, зловоние и беспорядок, на полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое: хозяин да его сын-мальчишка.

В другой та же история, в третьей – на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы – и ни одного жильца. А у всех выходов – солдаты, уйти некуда. Перерыли сараи, погребя, чуланы – нашли только несколько человек, молчаливых, как пни, и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории, а «иваны» первое время поразбредлись, а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейко в «Сухом овраге».

Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и так же тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого.

Целые квартиры заняли портные особой специальности – «раки». Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленной управы. «Раками» их звали потому, что они вечно, «как раки на мели», сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки.

Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населён грабителями, а теперь заселился законно прописанными «коммерсантами», неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, «коммерсантами», сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое.

Смело можно сказать, что ни один домовладелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съёмщики квартир и приёмщики краденого.

В этом громадном трёхэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевен, кабака в нижнем этаже и одного притона-трактира, вся остальная площадь состояла из мелких, грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями.

Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки... В такой квартире в трёх-четырёх разгороженных комнатках жило человек тридцать, вместе с детьми...

Летом с пяти, а зимой с семи часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелёк, грязные и оборванные, бегут на толкучку, на промысел. Это съёмщики квартир, которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными чёрт знает из какого табака.

Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают, – квартиры загрязнены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или, за редким исключением, не больше двух раз в году убирают свои квартиры, населённые ворами, пьяницами и проститутками.

Эти съёмщицы тоже торгуют хламьём, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями...

Первая категория торговков являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запасть свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя, и всякий совал, что у него есть: и пиджак, и брюки, и фуражку, и бельё.

Всё это рваное, линючее, ползёт чуть не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными, чёрное пальто окажется серо-буро-малиновым, на фуражке после первого дождя выступит красный околыш, у сюртука одна пола окажется синей, другая – жёлтой, а полспины – зелёной. Бельё расползается при первой стирке. Это всё «произведения» первой категории шиповских ремесленников, «выдержавших экзамен» в ремесленной управе.

Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из «Шипова дома», а из желающих продать – столичная беднота: лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником, бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу, голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребёнка, и жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу.

Вот эти-то продавцы от горькой нужды – самые выгодные для базарных коршунов. Они стаей окружали жертву, осыпали её насмешками, пугали злыми намёками и угрозами и окончательно сбивали с толку.

– Почём?

– Четыре рубля, – отвечает сконфуженный студент, никогда ещё не выдавший толкучки.

– Га! Четыре! А рублёвку хошь?

Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле, и каждый бросал своё едкое слово:

– Хапаний!.. Покупать не стоит. Ещё попадёшься!

Студент весь красный... Слёзы на глазах. А те рвут... рвут...

Плачет голодная мать.

– Может, нечистая ещё какая!

И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены.

– Должно быть, краденый, – замечает старик барышник, напрасно предлагавший купчихе три рубля за самовар, стоящий пятнадцать, а другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлела от ужаса:

– За будочником бы спосылать...

Эти приёмы всегда имели успех: и сконфуженный студент, и горемыка-мать, и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости, только выдавший виды чиновник равнодушно твердит своё да ещё заступает за других, которых маклаки собираются обжулить. В конце концов, он продаёт свой собачий воротник за подходящую цену, которую ему дают маклаки, чтобы только он «не отсвечивал».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.